МЭРИ БРЭДДОН

# Потерянный для любви



Магистраль. Главный тренд

Мэри Элизабет Брэддон

# Потерянный для любви

«Эксмо»
1874

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

**Брэддон М.**

Потерянный для любви / М. Брэддон — «Эксмо», 1874 — (Магистраль. Главный тренд)

ISBN 978-5-04-256774-2

Лондонский врач Катберт Олливант, достигший к тридцати шести годам прочного положения и уважения в обществе, привык к размеренной, лишённой счастья жизни. Всё меняется, когда судьба вновь сводит его с другом юности и открывает перед ним новый мир — мир юной Флоры, чья чистота, свежесть и невинное обаяние пленяют его сердце. Но там, где чувство требует смелости, вмешивается разум: Олливант колеблется, подавляя в себе зарождающуюся любовь, страшась разницы в возрасте и возможного осуждения. В это время рядом с Флорой появляется иной поклонник — молодой художник, блистающий лёгкостью, уверенностью и тем беззаботным очарованием, которого так недостаёт сдержанному доктору. Перед лицом выбора, где любовь становится испытанием, каждому из них предстоит узнать, сколь высока цена упущенного счастья.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-256774-2

© Брэддон М., 1874
© Эксмо, 1874

# Содержание

Глава I 6
Глава II 13
Глава III 18
Глава IV 25
Глава V 31
Конец ознакомительного фрагмента. 34

# Мэри Элизабет Брэддон
# Потерянный для любви

Mary Elizabeth Braddon
Lost for Love

© Островская А.Ю., перевод на русский язык, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

# Глава I

Доктор Олливант сидел один в своей библиотеке, которая служила ему еще и приемной, – просторной комнате, устроенной в задней части его дома на Уимпол-стрит. Наконец закончился очередной долгий, тяжелый день. В свои тридцать шесть лет он обладал обширной практикой, щедро вознаграждавшей его за преданность науке, но оставлявшей мало места для удовольствий. Впрочем, едва ли можно было сказать, что доктору Олливанту был известен истинный смысл слова «удовольствие», если только не в том ограниченном значении, какое предлагали словари. Его отец был трудолюбивым – а по мнению людей, и корыстолюбивым – сельским врачом, и в ту раннюю пору, когда детский ум начинает впитывать первые впечатления, он стремился привить сыну верное представление о жизни, неизменно созерцаемой с его собственной точки зрения: что жизнь создана для тяжкого труда, что без труда ни один человек не вправе рассчитывать на успех, а мирской успех – высшее из благ, доступных человеческой душе.

Катберт Олливант выучил этот урок, но применил его по-своему. Если бы он не был умнее своего отца, он, вероятно, счел бы успехом – или, как выражался отец, «продвижением» – укрепление и расширение родовой практики, степенной, старомодной, семейной, в дремотном городке Лонг-Саттон, графство Девоншир. Но юноша оказался куда умнее и образованнее своих родственников. Для него важно было стать личностью – воплотить в жизнь новые идеи, двигать вперед науку и если не сделать большого открытия, то, по крайней мере, своими трудами принести пользу будущим поколениям.

Для юноши с подобными стремлениями Лонг-Саттон оказался тесен. Сэмюэль Олливант едва не выдрал последние пряди редкого венчика волос, окружавшего его лысину, когда сын, завершив положенный курс обучения, объявил, что больше не вернется в сонный девонширский городок, где их семья жила и множилась из поколения в поколение. Отец мог передать свою добрую старую практику кому угодно. Он, Катберт, останется в Лондоне – он уже получил место приходского врача в многолюдном приходе бедного района Бетнал-Грин. Платили там ничтожно мало, но научная деятельность обещала быть блестящей.

Мистер Олливант стонал и скрежетал зубами, уверяя жену, что их сын – полный осел, но никакие уговоры не могли поколебать решимости этого заблудшего молодого человека. Катберт начал свою службу в окрестностях Бетнал-Грина в двадцать три года и усердно продолжал ее до двадцати шести, за исключением рождественских праздников, когда сыновний долг обязывал его приехать домой. Но больше в Лонг-Саттоне о нем ничего не знали. После трех лет неустанного труда – столь самоотверженного приходского врача даже старейшие жители прихода не видывали – он отправился за границу, учился во Франции и Германии, добрался до Петербурга, ознакомился со всеми школами медицины, а незадолго до своего тридцатилетия был вновь вызван в Англию – к смертному одру отца.

– Ты совершил большую ошибку, Катберт, – сказал старик в единственный краткий час, когда мог разумно поговорить с сыном. – Ты мог бы поднять на ноги нашу практику, если бы работал со мной последние семь лет. А теперь дело пришло в упадок. Я постарел… Я не люблю чужих и поэтому не брал помощника. Пилби и Джексон сильно меня потеснили, Катберт, да и практика уже не та, что была во время твоего детства, теперь она приносит гораздо меньше. Но я оставляю тебе небольшое, но надежное состояние, несмотря ни на что. Все заслуга твоей матери – не было женщины бережливее.

«Небольшое, но надежное состояние», о котором он говорил, составляло несколько тысяч фунтов – вполне достаточно, чтобы уладить дела вскоре после похорон отца. Он продал практику в Лонг-Саттоне Пилби и Джексону, которые уже обслуживали три четверти пациентов в городе, и тем самым почти утвердил их монополию. Он охотно продал бы и отцовскую

мебель, но здесь вмешалась мать. Стулья и столы, конечно, были старомодны, тяжеловесны, лишены изящества, но они сопровождали ее всю супружескую жизнь и напоминали о молодости.

– Только представь себе, Катберт, тридцать два года…

– Представляю, мама. Может, это повод начать новую жизнь с новой мебелью?

– Я слишком стара, чтобы начинать новую жизнь, милый. Да и старые вещи мне милее. – Она бросила нежный взгляд на старинный сервант из испанского красного дерева, который с годами потемнел почти до черноты. – Теперь таких уже не делают.

– К счастью, – заметил ее невзыскательный сын. – Перевозить мебель будет дороже, чем она сама стоит, но, если она вам дорога, ее, конечно, перевезут. Лично мне все равно, на каком стуле сидеть. Я не привередлив.

Так древний сервант, секретеры, бюро и огромные кровати с балдахинами – все вещи очень сурового и респектабельного вида – были перевезены из Лонг-Саттона в дом Катберта Олливанта на Уимпол-стрит. Там они были расставлены под надзором миссис Олливант, и его лондонское жилище приняло тот же мрачный, строгий и древний облик, который он помнил с детства.

Сама улица, на которой теперь поселились доктор Олливант со своей матерью, была не самой оживленной. Она была непомерно длинной, и градостроители обделили ее шириной: тени домов мрачно нависали над фасадами с противоположной стороны. Но Уимпол-стрит – место фешенебельное, даже модное, по крайней мере принадлежащее к Вест-Энду, и доктор Олливант – он получил высшую степень в Париже и поспешил утвердить ее теперь в Лондоне – избрал Уимпол-стрит достойной основой для своей деятельности. С бедным районом Бетнал-Грин его больше ничто не связывало, но каждое утро – с восьми до десяти – он все равно посвящал два часа бесплатным пациентам. В первый год его жизни на Уимпол-стрит они были почти единственными его посетителями. Потом понемногу его слава начала расти: во время учебы за границей он выбрал себе узкую специальность – заболевания сердца, – написал небольшой трактат на эту тему и издал его в Лондоне и Париже. С помощью этой книги он привлек внимание множества праздных людей, уверенных, что страдают недугом сердца, и немногих тех, кто действительно был болен. Богатые почтенные дамы и джентльмены, жившие в одиночестве и жившие слишком хорошо, приходили к нему, находили приятной его манеру – сдержанную, холодноватую, но вежливую, внушавшую доверие к глубине его познаний, – и становились его постоянными пациентами. «Олливант о болезнях сердца» и «Олливант об аускультации» стали почти классическими трудами. Словом, Катберт Олливант достиг успеха, и к тому времени, как истекли пять лет его пребывания в доме на Уимпол-стрит, завоевал положение, которое считал ступенью к дальнейшей славе.

Теперь с ним жила его мать, как жила с ним с самого детства: она заботилась о хозяйстве и была для него приятной собеседницей в редкие минуты отдыха. В ее характере крайняя приземленность удивительным образом соседствовала с живым умом и воображением. Она откладывала томик Вордсворта или Шелли, чтобы распорядиться насчет обеда или заказать продуктов на неделю. Она экономила деньги сына лучше, чем кто-либо другой. Она не позволяла пропасть ни черствой корке, ни чашке топленого сала и при этом сохраняла уважение прислуги и слыла щедрой хозяйкой. Обеды она заказывала простые, но со вкусом, и готовились они с таким изяществом, что могли бы соперничать с трапезами в любом модном клубе Вест-Энда. Каждая деталь сервировки была безупречна, хотя она не прибегала к современным изящным приборам: не было тонких, почти прозрачных бокалов и расписной майолики. Были тяжелые старомодные хрустальные графины, и массивное серебро сверкало на белоснежной скатерти. И над всем этим царило лицо матери, так похожее на лицо сына, с глубокими, живыми глазами и подвижным ртом.

Была половина десятого вечера, сырая ноябрьская осень. Дождь неистово барабанил по окну над головой доктора. Он поужинал и после этого провел час с матерью, беседуя о литературе и политике – она считала своим долгом интересоваться всем, что интересовало его, – затем спустился в свой кабинет, чтобы читать последнюю научную книгу, достойную прочтения.

Старинный серебряный чайник, чашка с блюдцем стояли на чипендейловском столике у его локтя. Доктор усмехнулся про себя, наливая чай.

«Прямо как старый холостяк, – подумал он. – Чай да полуночные занятия. Впрочем, я никогда не был молодым – в общепринятом смысле слова».

Вдруг его чуткий слух уловил, что в дверь дважды постучали.

«Так обычно стучит извозчик, – подумал он с легкой досадой, с тоской взглянув на раскрытую книгу. – Наверное, кто-то решил заглянуть, поболтать вечерком… досадно, я как раз хочу добраться до сути его рассуждений».

«Его» – то есть автора книги, объемного тома страниц в пятьсот, половина которых была еще не разрезана. Доктор Олливант слыл не очень общительным человеком, но, как он любил замечать матери, «человек не может пройти по жизни так, чтобы некоторые не вознамерились познакомиться с ним». Нашлось несколько таких настойчивых людей, сумевших утвердиться в его кругу против его воли, – самоназванные друзья. Это были главным образом его коллеги по профессии. Он приглашал их к себе обедать два-три раза в год и позволял заглядывать изредка вечерами, но никогда не поощрял частых визитов.

К нему вошел слуга – старик, служивший личным секретарем еще его отцу и прибывший вместе с мебелью из Лонг-Саттона, – и подал визитную карточку. Доктор Олливант рассеянно взглянул на нее, но тотчас оживился вспышкой удивления.

– Марк Чемни! – задумчиво произнес он. – Марк Чемни! – И, торопливо обернувшись к слуге: – Приведите его сюда немедленно.

Он принялся яростно мешать кочергой угли в камине – излюбленный мужской способ проявить радушие, – а затем поспешил к двери, чтобы встретить гостя. Мистер Чемни был его школьным другом более двадцати лет назад, когда он, совсем юный, учился в частном интернате в западном графстве, – лучшим другом в ту пору, когда он еще верил в дружбу.

Неожиданный гость вышел из полумрака прихожей в яркий белый свет кабинета. Это был высокий человек, его даже можно было назвать долговязым: длинные, несколько неповоротливые конечности, изможденное лицо, спасенное от полной непривлекательности честными голубыми глазами – мягкими, кроткими, почти женскими. Таков был Марк Чемни, старше доктора на четыре года, некогда его защитник. Чемни был тугодумом и атлетом. Хрупкий четырнадцатилетний Катберт переводил ему Гомера и Вергилия, а тот, в свою очередь, ограждал младшего товарища от школьных забияк.

Катберт – сам не лишенный храбрости – почитал Марка воплощением силы и мужества, своим Ахиллом, Гектором, Аяксом. Они расстались, когда Марк окончил последний триместр, и поклялись быть друзьями на всю жизнь, и с той поры более не встречались – до сегодняшнего дня. Доктор Олливант испытал легкий укол совести при виде изменившегося – такого знакомого, но все-таки другого! – лица, вспомнив, как мало он сделал для сохранения этой мальчишеской дружбы. Но не был ли Марк так же в этом виноват? Они обменялись рукопожа- тиями.

– Я узнал бы тебя где угодно, – сказал Марк.

Доктор Олливант едва ли мог повторить это уверенно. Он лишь крепче сжал руку друга и произнес:

– Ты единственный человек, которого я действительно рад видеть, Чемни.

– Приятно слышать, Олливант, – ответил тот. – Потому что я пришел потребовать исполнения старого обещания – быть может, давно забытого.

– Нет, – серьезно возразил другой. – Не забытого, если ты говоришь о нашей клятве вечной дружбы. Я прожил жизнь, так и не научившись обзаводиться многими друзьями. С

тех пор как ты защищал меня от Голиафов из гимназии Хиллерсли, у меня не появилось ни одного настоящего друга. – Катберт Олливант сказал это настолько искренне, насколько мог – горячность не была ему свойственна. – Странно, что мы ни разу не пересеклись за все эти годы, – продолжал он после недолгой паузы.

Мистер Чемни опустился в кресло с выражением усталости или безразличия – настроением, разительно отличавшимся от той атлетической энергии, которую Олливант помнил еще со школы.

– Странного тут меньше, чем кажется на первый взгляд, – ответил Чемни. – Ты когда-нибудь пытался меня найти?

– У меня не было ни одного свободного дня с тех пор, как я окончил учебу.

– Значит, нет. Что ж, Олливант, даже если бы и искал, результат оказался бы тем же: большую часть этих лет я провел на овечьем пастбище в Квинсленде.

Доктор почувствовал, как с души его свалился какой-то груз, тяготивший его с момента появления Марка Чемни.

– Как ты оказался в Квинсленде? – спросил он, звоня в колокольчик. Слуга – тот самый незаменимый человек, обладавший, казалось, врожденной интуицией, – явился мгновенно, неся резные бокалы и графин хереса на старинном серебряном подносе – фамильное наследие Олливантов. Даже бокалы были старинными, тяжелыми и громоздкими, по сравнению с современными.

– Как я оказался в Квинсленде? – повторил гость, вытягивая длинные ноги к камину и складывая на груди костлявые руки. Одет он был с головы до ног в светло-серое сукно, от чего казался еще выше. – Склад характера, склонный к авантюре, нелюбовь ко всем способам заработка, что были доступны мне дома. Я не был гением, как ты, Катберт. Всегда терпеть не мог умственного труда и проваливал каждый экзамен в Хиллерсли – ты, наверное, помнишь. Но с цифрами я неплохо управлялся, только не с теми, что написаны на бумаге. Услышал я как-то о счастливцах, что зарабатывали деньги на далеких овцеводческих фермах, и, когда мой отец, преуспевающий нотариус в Эксетере, предложил мне стать у него стажером, я не спорил, а попросту сбежал. Подробностями побега я тебя утомлять не стану. Я покинул Эксетер с несколькими фунтами в кармане и добрался до Австралии матросом на грузовом судне. Первое время мне приходилось туго – я познакомился с голодом куда ближе, чем хотелось бы. Но ко второму году уже стал управляющим у человека, которому посчастливилось получить одну из лучших ферм в Дарлинг-Даунс – она простиралась более чем на десять миль в каждом направлении. Он арендовал участок у правительства за чисто номинальную плату, и в дни перегонов я стоял у ворот и помогал пересчитывать семьдесят тысяч овец. Мой работодатель сделал состояние – шестьдесят тысяч фунтов меньше чем за десять лет, – но, вот беда, он допился до смерти… За несколько лет до кончины он взял меня в партнеры: белая горячка и деловая хватка были вещами несовместимыми – он это хорошо понимал и знал, что без меня ему не обойтись. Когда он умер, цены на овец были низкие, однако я успел скопить в австралийских банках достаточно, чтобы выкупить его долю. Так я начал жизнь заново, в тридцать лет, с состоянием в двадцать тысяч фунтов после всех выплат. Потихоньку продвигался дальше, принимая плохое вместе с хорошим, и еще пятнадцать лет трудился не покладая рук. А потом мне вдруг пришло в голову, что пора бы вернуться в Англию и увидеть дочь.

– Дочь! – воскликнул доктор Олливант. – Так ты женился? – Как будто это было самое невероятное событие из всех возможных.

– Да, – грустно вздохнул Марк. – Я женился на самой прекрасной девушке на свете. Она приехала в Хобарт гувернанткой – одинокое юное создание, почти без друзей. Я встретил ее там во время одного из своих летних отпусков и полюбил в ту же секунду. Полагаю, образ жизни, который я вел на ферме – я стоял по пояс в воде и следил за купанием овец да скакал по тридцать миль до завтрака в поисках отбившихся животных, – делает сердце мужчины вос-

приимчивым ко всякого рода впечатлениям. Как бы то ни было, я влюбился в Мэри Гровер без памяти и не знал покоя, пока не попросил ее стать моей женой. Она сперва колебалась, и ее робость только сильнее меня привлекла, а когда я стал настаивать, она сказала – в самых милых выражениях, совсем не как я, – что не может стать моей женой, потому что она меня недостойна. Род у нее был не знатный: дед ее был джентльменом, но потомки его как-то опустились; словом, она дала мне понять, что все они откровенные бездельники и ей пришлось сбежать за океан, чтобы быть от них подальше. Это ничуть меня не тронуло, и я прямо сказал ей об этом. Мне хотелось жениться на ней, а не на ее семье, и понемногу я ее уговорил. Она призналась, что не испытывает ко мне неприязни и что она даже чуть-чуть меня любит, потому что я, по ее словам, сильный и смелый – милая душа, откуда ей было знать! – и, наконец, что предпочла бы вести размеренную жизнь со мной в глуши Даунса, чем учить детей французским глаголам и гаммам в Хобарт-таун. После этого я не стал тянуть: мы обвенчались через три недели и я увез свою юную жену на ферму. У меня был добротный деревянный дом с десятифутовой верандой кругом – его построил Джек Фергюсон, мой покойный компаньон, – и мне казалось, он нам вполне подойдет. Но один Бог знает, как все вышло – климат ли тому виной, или спокойная жизнь вдали от общества пришлась ей не по нраву, – но моя дорогая жена зачахла и умерла всего через два года после нашей свадьбы и лишь год спустя после рождения дочери.

– Тебе следовало бы привезти ее домой, – сказал доктор.

– Этого я хотел больше всего, но она ни за что не соглашалась. Ее расстраивало любое упоминание о возвращении в Англию. У нее была какая-то непреодолимая причина туда не ехать, а я не мог ее огорчать… Я и не знал, что конец так близок. Она ушла от меня незаметно – словно цветок, который пересадили вечером, а к утру он уже завял.

Он поднялся и стал измерять шагами комнату, глубоко взволнованный этим воспоминанием. Катберт с любопытством наблюдал за ним. Выходило, что жена не пустая условность. Мужчина может дорожить ей по-настоя- щему.

– Мне очень жаль, Марк, – сказал он дружелюбно, все еще удивляясь, как такой большой человек может так убиваться по утрате женщины. – Но у тебя осталась дочь, она должна быть тебе утешением.

Это была всего лишь механическая попытка выразить сочувствие: доктор Олливант и понятия не имел, каким образом дочь может служить утешением мужчине.

– Она единственная радость моей жизни, – ответил тот с грубой, почти резкой выразительностью, странно контрастировавшей с ровной, благородной интонацией доктора, чей глубокий баритон был одним из его редкостных дарований.

– И все же ты решил с ней расстаться? – спросил доктор с недоумением. Вся эта история казалась чем-то из иного мира – мира чувств, о котором он знал лишь понаслышке, главным образом из любимого Вордсворта.

– Разве я мог позволить, чтобы она зачахла и умерла, как ее мать? Возможно, дело было в климате, хотя сильные мужчины там живут без вреда для здоровья. Я не мог допустить подобного риска для Флоры – красивое имя, правда? Это мать ее так назвала, потому я и отправил девочку домой с женой одного пастуха, когда ей было два года. Та привезла ее прямо к моим родным в Эксетер, но не успело ей исполниться семи, как умерла моя мать, а отец отправил Флору в пансион недалеко от Лондона. Он умер вскоре после этого, и вот дитя осталось сиротой среди чужих людей. Впрочем, казалось, она счастлива – по крайней мере, ее письма, эти милые детские письма, об этом свидетельствовали – и она оставалась в пансионе, пока я год назад не вернулся, не снял дом в Лондоне и не обосновался там со своей девочкой – в апреле ей исполнилось семнадцать, и теперь мы всегда вместе, – прибавил он с легким вздохом.

– То есть ты прожил в Лондоне целый год, не попытавшись меня разыскать до сегодняшнего вечера? – спросил доктор с оттенком досады.

– А ты прожил двадцать, так и не попытавшись разыскать меня, – возразил Марк. – Сказать тебе, что привело меня к тебе сегодня, Катберт? Это едва ли польстит тени нашей мальчишеской дружбы – если от нее хоть тень осталась! Думаю, ты уже успел узнать, что человеческая натура эгоистична. Книга, которую ты написал, заставила меня прийти к тебе.

– Моя книга? Я никогда не писал ничего, кроме медицинских брошюр.

– Именно. Как называется твой труд? «О болезнях сердца», кажется. Еще задолго до того, как я покинул Квинсленд, я стал подозревать, что со мной что-то неладно: меня утомляет даже легкий подъем в гору, бывает учащенное сердцебиение, а иногда такая тяжесть, будто сердце вовсе перестало биться. Бессонные ночи, вялость и с десяток иных неприятных симптомов. Я понял, что не могу ходить, как прежде, поэтому стал ездить верхом, но мне это не помогло. Я начал думать, что просто нервничаю или мне это вообще кажется, и яростно сопротивлялся собственным ощущениям.

– Ты не обращался к врачу?

– На наших пастбищах лекарей немного. К тому же мне не хотелось, чтобы меня осматривал чужой человек. Я думал, что дорога домой пойдет мне на пользу, и так и вышло. Но здешний быт и этот влажный воздух довершили свое дело. Короче говоря, я чувствую, что конец моего пути уже близок.

– В Англии ты тоже не пошел к врачу?

– Нет. Жизнь, которую я вел там, за океаном, делает из человека дикаря. Я испытываю отвращение к чужим людям. Но на днях я читал «Таймс», и твое имя бросилось мне в глаза в начале колонки. Олливант – редкая фамилия. Я вспомнил, что твой отец был доктором, и решил, что, может быть, доктор Олливант с Уимпол-стрит был когда-то тем самым парнишкой, которого я время от времени спасал от побоев в Хиллерсли.

– Мой милый старый друг, – сказал доктор, протягивая руку своему школьному товарищу с теплотой, для него вовсе не свойственной. – Дай Бог, чтобы тот инстинкт, что привел тебя ко мне, оказался тем самым, что способно привести к твоему исцелению. Мнимая сердечная болезнь, смею думать, – лишь следствие упадка духа, вызванного твоей утратой и уединенной жизнью в Австралии. Может быть, смена воздуха, перемена обстановки, новые занятия…

– Ничем не помогли, – отрезал Марк.

Доктор Олливант впервые всмотрелся в друга пристальным профессиональным взглядом. Для опытного глаза его изможденный облик – бледное лицо со впалыми щеками, выцветшие глаза – ясно говорил о подорванном здоровье, если не о серьезном недуге.

– Приходи ко мне завтра утром, – произнес он примиряющим, врачебно-спокойным тоном. – Я осмотрю тебя как следует. Полагаю, все окажется гораздо лучше, чем ты думаешь.

– Сегодняшний вечер ничем не хуже завтрашнего утра, – возразил мистер Чемни так холодно, словно желал уладить пустячное дело. – Почему бы тебе не осмотреть меня сейчас?

– Если тебе угодно – пускай сегодня. Я лишь подумал, что тебе будет приятно посвятить вечер дружеским воспоминаниям о прошлом, подняться со мной наверх, в гостиную, и познакомиться с моей матушкой.

– Я буду очень рад познакомиться с твоей матерью и поговорить о старых временах. Но сперва мне хотелось бы покончить с этим делом.

– Как скажешь. Сними сюртук и жилет, друг мой. Я запру дверь, чтобы никто нам не мешал.

Доктор вынул из ближайшего ящика стетоскоп и приступил к осмотру с безмятежной деловитостью, которая сама по себе действует умиротворяюще, – с видом человека, которому стоит лишь узнать, что именно расстроено в человеческом механизме, чтобы тотчас же привести его в порядок. Лицо его становилось все серьезнее по мере того, как он слушал и простукивал грудную клетку – серьезнее и серьезнее по ходу осмотра, пока спустя минут десять

(пациенту же показалось, что прошло куда больше времени), с легким вздохом он не поднял голову от широкой груди Марка Чемни и не отложил стетоскоп.

– Видишь, я был прав, – произнес мистер Чемни без малейшей дрожи в голосе.

– Боюсь, что так.

– Ну же, к чему эта неопределенность? Ты ведь все знаешь наверняка.

– Признаю, заболевание есть, – осторожно ответил доктор. – Отрицать было бы неправильно. Но недуг этот не всегда смертелен. При надлежащей осторожности человек может прожить до глубокой старости, невзирая на болезнь столь же тяжелую, а может быть, и более тяжелую, чем твоя. Я знал человека, который при подобном недуге дожил до восьмидесяти и умер в конце концов от бронхита. Тебе следует лишь беречь себя, Чемни, – вот и все.

Затем доктор изложил предписанный образ жизни – распорядок, состоявший главным образом из запретов. Пациенту следовало исключить одно, не допускать другого, что-то вроде: избегать физических нагрузок, никаких волнений, рано ложиться спать.

– Какое унылое, жалкое существование, – заметил мистер Чемни, когда доктор закончил перечислять. – Я-то думал, что вернувшись домой, смогу немного пожить в свое удовольствие: поохотиться с гончими, взять яхту напрокат, показать дочери мир – увидеть жизнь, одним словом. Но всему этому приходит конец. Если бы не Флора, я бы, пожалуй, предпочел рискнуть и выжать из жизни все до последней капли. Но у меня нет в целом свете ни одного друга, которому я мог бы доверить мою девочку, когда меня не станет.

– Можешь рассчитывать на меня, – сказал доктор Олливант, – и на мою мать тоже.

– Знаешь, о чем я подумал, когда шел к тебе сегодня вечером, Катберт? Я подумал, что если это действительно мой Олливант и он все такой же добрый малый, каким обещал вырасти, он мог бы приглядеть за моей дочуркой, когда меня не станет… А твоя матушка – она ведь все еще полна сил? Это утешает.

– Да. И, слава богу, она крепка здоровьем и, вероятно, проживет еще многие годы, – ответил доктор. – Завтра же приводи к нам свою дочь, Марк. Я человек занятой, сам понимаешь, но у моей матери достаточно времени для дружбы.

– Приведу. Между прочим, кое о чем ты умолчал, Катберт. Но в этом, думаю, не было нужды. При моем недуге человек может умереть в любую минуту, не так ли?

– Что ж… да. Боюсь, ты можешь умереть в любой момент.

# Глава II

На следующий день мистер Чемни привел дочь к миссис Олливант, выбрав время, когда доктор отсутствовал, – он совершал свои ежедневные визиты. Миссис Олливант была готова к визиту гостей и с большим радушием приняла старого друга сына и его очаровательную дочь. Когда Катберт вернулся к ужину в семь часов, она принялась оживленно рассказывать о гостях.

– Мы вместе позавтракали, и они провели со мной больше двух часов. Никогда не видела девушки милее, чем мисс Чемни… – Она осеклась. – Флоры. Она попросила, чтобы я называла ее по имени.

– Хорошенькая? – спросил доктор рассеянно, почти равнодушно, как это обычно делают мужчины.

– Не знаю, счел бы ты ее безусловно красивой, но в ней есть нежность, свежесть, юная непорочность – все то, что пленяет сильнее красоты. По мне, так она – воплощение самой вордсвортской Люси.

Доктор Олливант пожал плечами.

– Я никогда особенно не ценил вордсвортскую Люси, – сказал он. – Девушка, которая хорошо вписывается в природу на берегах Дава, но становится невзрачной в любом обществе. Мне нравится красота яркая, сверкающая, такая, что внушает восхищение и трепет, – как тропическая гроза.

– Тогда мисс Чемни тебе не понравится. Но она очаровательная малютка, несмотря ни на что.

– Малютка! – с пренебрежением воскликнул доктор. – Должно быть, она просто коротышка… Крошечная, как огрызок карандаша.

– Наоборот, она скорее высокая, хотя и очень хрупкая. Самая девичья фигура…

– Угловатая, – пробормотал доктор.

– И с особой, чуть ленивой грацией, как у цветка на тонком стебле, – скажем, как у нарцисса.

– Недостает жизненной силы, полагаю, – сказал он. – Впрочем, мама, после твоего рассказа я не горю желанием с ней встречаться. Главное, что тебе она нравится. Ты будешь ей куда полезнее, чем я. Ей нужны будут друзья, когда бедного Чемни не станет.

– Он выглядит очень плохо, Катберт. Ты считаешь, ему действительно угрожает опасность?

– Даю ему год, – ответил доктор.

– Бедный Марк! И бедная девушка – это так тяжело для нее. Кажется, она так привязана к нему. Я никогда не видела столь нежной любви между отцом и дочерью.

– Вот как? – спокойно откликнулся доктор, продолжая ужин с обычным невозмутимым видом. Его вовсе не раздирала скорбь от мысли, что друг юности вернулся к нему с печатью смерти на своем исполинском теле. Он сдержанно сожалел, находя положение отца и дочери трогательным, но ему так часто приходилось наблюдать людские драмы, что он воспринимал их совершенно спокойно. Он был готов оказать поддержку несчастной сироте, когда придет его час – так же, как ее отец некогда защищал его, мальчишку, одинокого ученика гимназии Хиллерсли.

В свой первый выходной он отправился навестить товарища – наполовину как друг, наполовину как врач, но брать плату со старого друга он и не думал. Мистер Чемни снял дом на Фицрой-сквер, даже не подозревая, что квартал располагался отнюдь не в модной части Лондона. Дом был светлый, просторный, и Марк не различал, какая площадь у него за окном – какая разница, Фицрой это или Белгрейв, если у тебя постоянно задернуты шторы и включен свет?

Дом был гораздо более величественным, чем соседние особняки: просторный холл, выложенный черно-белым мрамором, широкая лестница, комнаты высокие и просторные. Потолок столовой поддерживали черные мраморные колонны, каминные полки были тонкие, резные. С надлежащей обстановкой дом мог бы быть великолепен, но мистер Чемни обставил его скупо, словно это был охотничий домик в глуши. Всю мебель он покупал с рук, выбирая перекупщиков в случайных лавках, куда забредал по освещенным улицам в вечерние часы: то огромный буфет, то стол, то дюжину стульев или мрачные тяжелые портьеры.

Для его дочери, приехавшей прямо из пансиона, где царили голые скамьи и простые сосновые столы, дом казался роскошным, и сама мысль о собственном доме была ослепительной новостью. Она сказала отцу, что в гостиной чего-то недостает – она выглядит пустынно в сравнении с гостиной мисс Мейдьюк в Ноттинг-Хилл. Но та священная комната была украшена акварельными пейзажами, шерстяными чехлами, восковыми фруктами и переводными картинками, созданными воспитанницами мисс Мейдьюк, и вся эта роскошь собиралась здесь долгие годы. Конечно, ни одна такая гостиная не может возникнуть на пустом месте, по одному лишь повелению мебельщика.

– Я тоже должна вышить чехлы для кресел, папа, – сказала Флора и тотчас приобрела несколько фунтов берлинской шерсти и десяток ярдов канвы.

Работа продвигалась со скоростью сотни стежков в день, а тем временем гостиная на Фицрой-сквер оставалась пустыней турецкого ковра с разбросанными по нему далекими островками старомодных, разрозненных предметов: тяжелый стол из красного дерева, четыре эбонитовых кресла с резными спинками, шесть таких же, но розового дерева и с латунной инкрустацией, пара современных диванов, письменный стол в дальней гостиной, где мистер Чемни писал письма и читал газеты. Одно лишь яркое пятно оживляло этот сумрачный простор: у средних окон в гостиной мисс Чемни устроила птичник – полдюжины канареек в большой клетке и австралийский попугай в круглой, отполированной до блеска латунной клетке, подвешенной к потолку. Канарейки пели редко, будто воздух Фицрой-сквер не располагал к музыке, хотя продавцы уверяли, что птицы певучи. Они порхали, весело чирикали и порой даже едва слышно ворковали. Австралийский пришелец же издавал звук, похожий на скрип двери, который он повторял с равными промежутками, по-видимому, находя в этом полное выражение собственных чувств. Звук был отвратителен, зато птица – прекрасна, и, как сказала мисс Чемни, не нужно ожидать от питомцев слишком многого.

Она стояла у большой клетки, заботясь о канарейках, когда Катберт Олливант увидел ее впервые. Ее отца не было дома, и доктор решил встретиться с юной мисс Чемни, не желая, чтобы дальняя поездка на Фицрой-сквер пропала даром – обычно он не заезжал сюда, и ему пришлось сделать крюк от привычного маршрута, лежавшего в квартал Мейфэр, среди узких улочек, населенных причудливыми старыми девицами и грузными холостяками, предающимися обжорству и винопитию. Поднимаясь по лестнице, он мысленно повторял строки о деве на берегах Дава и усмехался материнской сентиментальности, будучи сам совершенно не склонен к подобным чувствам. Горничная распахнула перед ним дверь гостиной, он вошел без объявления – и увидел ее, Флору Чемни, склонившуюся над несчастной канарейкой.

«Мама была права, – он понял это с первого взгляда, как и всегда. – Это самая милая девушка, какую я видел в жизни».

«Миловидная» – слово, которое всякий невольно применял к Флоре Чемни. Небольшое овальное лицо, большие серые глаза, темные ресницы, тонкие, ровно очерченные брови, темно-каштановые волосы, волнами спадающие на белоснежный лоб. Длинная тонкая шея, фигура слишком хрупкая, безупречные тонкие руки и ноги – словом, образ не столько поразительный, сколько изящно завершенный. Серое шерстяное платье, узкий льняной воротник, голубая лента, свободно повязанная на шее, – вот и все ее убранство. Но целостность образа несла в себе такую мягкость и прелесть, что Катберт Олливант вспомнил о полотне кисти Греза,

которое он некогда видел на распродаже у Кристи и Мэнсона за одиннадцать сотен фунтов: девичья фигура, ласкающая голубку.

Поздороваться с ней оказалось легко – Флора сама протянула ему руку и приветливо улыбнулась.

– Вы можете быть только одним человеком на свете, – сказала она. – У нас больше нет друзей. Вы, конечно, доктор Олливант.

– Именно так. Я очень рад, что вы считаете меня своим другом.

– Вы бы не были так удивлены, если бы слышали, как папа говорит о вас. Он никогда не устает рассказывать, каким вы были славным мальчиком в гимназии Хиллерсли и какую блестящую карьеру построили. Если бы папа не говорил о вас постоянно с такой теплотой, я бы, пожалуй, немного боялась вас.

– Боялись? Но почему? – спросил он, глядя на нее с легким изумлением и с печальным осознанием того, что, женись он в юности, мог бы иметь дочь, подобную этой. Однако не все дочери подобны ей.

– Потому что вы так умны. В школе мисс Мейдьюк, – сказала она, словно он непременно должен знать, о ком речь, – я всегда робела перед мисс Килсо, которая всю жизнь была лучшей ученицей, знала точную дату каждого события после Великого потопа и умела решать дифференциальные как-их-там гиперболусы и прочие ужасы… Она каждый триместр получала высшие оценки.

– Значит, умники вам не нравятся? – сказал доктор, мягко улыбнувшись упоминанию гиперболусов.

– Очень нравятся, если они милы.

– Например, музыканты или художники? – предположил он, сознавая, что сам ни к тому, ни к другому типу не принадлежит.

– Музыканты – просто прелесть! И художников я люблю. Их в округе множество, но мы с ними не знакомы. В трех домах отсюда живет молодой человек, который, должно быть, так же гениален, как Рафаэль. По крайней мере, волосы у него того же цвета, что у Рафаэля, и нос греческий…

– Стало быть, наука занимает вас куда меньше?

Мисс Чемни скорчила гримаску, будто представив нечто неприятное.

– Это ведь про паровые машины, ткацкие станки и тому подобные вещи, не так ли? – спросила она своим обаятельно-детским тоном, который делал приятными даже самые пустые ее речи.

– Иногда это означает куда больше, чем паровые машины. Но едва ли можно ожидать, чтобы молодая леди интересовалась такими предметами, как не следует ждать от цветов, что они станут разбираться в собственных латинских названиях или изучать ботанику. Я вижу, вы любите птиц.

– Я общаюсь с ними как с друзьями, когда папы нет дома, – ответила она. – Но это непросто. Они склоняют головки набок и чирикают, когда я с ними говорю, но дальше мы не продвигаемся. Думаю, попугай из них самый умный, хотя он совсем не поет.

Австралиец, который все это время с определенными промежутками издавал скрип, при этих словах скрипнул особенно громко, словно выразил одобрение.

– Я назвала их в честь своих любимых героев, – сказала Флора, глядя на канареек, – но боюсь, они не могут запомнить свои имена. Вон тот маленький толстячок с хохолком – Векфильдский священник[1], тот, что с черным крылышком, – Гамлет, эта бойкая пташка – Дэвид Копперфильд; а тот ярко-желтый – Принц, который нашел в лесу Спящую красавицу. Кажется, у него не было имени в сказке, правда? – обратилась она к доктору так, словно он должен был

[1] Персонаж одноименного романа английского писателя Оливера Голдсмита (1730–1774).

помнить всех героев детских сказок. – Поэтому я назвала его Прекрасным принцем. Остальные – тоже принцы из сказок.

– Неужели никто не может составить вам компанию, когда вашего отца нет дома?

– Никто. Старые папины друзья – те, которых он знал в юности, – все остались в Девоншире, и он говорит, что не хочет разыскивать их, потому что, по его признанию, в детстве не слишком их жаловал. У меня, конечно, есть подруги в школе, и папа сказал, что я могу их приглашать. Но когда я полгода назад поехала к мисс Мейдьюк, все мои любимые девочки уже разъехались, а я не могла набраться храбрости, чтобы отправиться к ним в гости. Тогда мне пришлось бы знакомиться с их папами и мамами, а я… быть может, это ужасно глупо, но я ужасно робею перед незнакомцами.

– Ну, вы не слишком испугались, когда я пришел, да еще и без предупреждения.

– О, это совсем другое: папа так много о вас говорил, а ваша мама была так добра ко мне на днях… вы будто давний друг.

– Надеюсь, я смогу сохранить это впечатление.

– Приятно знать, что вы врач и сможете позаботиться о папином здоровье. Он в последнее время не очень хорошо себя чувствует. Но вы ведь сможете ему помочь, не так ли?

– Я сделаю все, на что способна наука, чтобы ему помочь, – ответил доктор серьезно.

– Наука это может? Тогда я буду любить науку всем сердцем. Как же глупо с моей стороны – забыть, что медицина тоже наука! А я всегда считала медицину одним из самых благородных занятий на свете.

– Правда?

– Что может быть благороднее искусства спасать человеческую жизнь? Я преклоняюсь перед великими врачами.

Эта детская, милая откровенность странным образом тронула доктора. «Стоило бы претерпеть все муки и тяготы супружества, лишь бы иметь такую дочь», – по- думал он.

Короткий зимний день – один из первых дней декабря – уже клонился к вечеру. Огонь в камине, забытый Флорой в ее заботах о канарейках, почти погас, только свет лампы мерцал на голых стенах. Комната казалась огромной, мрачной и пустой – слишком суровое жилище для столь прелестного создания.

«Будь она моей дочерью, я бы окружил ее теплотой и уютом», – подумал доктор.

– Вам, наверное, очень тоскливо в таком большом доме, когда вашего отца нет рядом? – спросил он.

– Вовсе нет, – ответила она, и улыбка, озарившая ее лицо в сумерках, сделала его почти сияющим. – Мне никогда не бывает скучно. Я очень счастлива, что папа вернулся ко мне навсегда.

«Как ненадежно это счастье, – подумал доктор. – И какое короткое “навсегда”».

– А потом, даже когда папа уходит, – мне, конечно, жаль расставаться с ним даже ненадолго, – я всегда умею занять себя. У меня наверху есть фортепияно, а еще коробка с красками.

– Вы, значит, рисуете? – спросил доктор. У него самого почти не было никаких талантов, и он недоумевал, сколько же всего может включать в себя воспитание молодой дамы.

– Я, конечно, извожу массу бумаги, но жить рядом с Рэтбон-плейс[2] очень удобно – всегда можно достать еще, а еще купить краски в маленьких тюбиках, которые выдавливаются. Работать с ними – одно удовольствие.

– Я хотел бы увидеть ваши рисунки.

– Я с удовольствием покажу вам первый, который сумею довести до конца, – неуверенно ответила Флора. – Но пока что у меня не выходит. Сначала они выглядят чудесно, и мне

[2] Улица в центре Лондона. На Рэтбон-плейс располагалась компания «Уинзор и Ньютон», производившая краски, холсты и прочие товары для художников.

кажется, что у меня действительно получается, а потом, даже не понимаю как, все идет вкривь и вкось, и, стоит раз провести линию не там, в конце концов становится все хуже и хуже, как я ни стараюсь.

– Пейзажи или фигуры?

– О, и то и другое. Сейчас я изучаю человеческую фигуру – например, недавно рисовала мелом нимфу у фонтана. Но от мела одна грязь, да и человеческая фигура без одежды довольно скучна… Ой! Слышите? Это папа стучит.

Так и было: Марк Чемни вскоре стремительно взбежал по лестнице и ворвался в гостиную – запыхавшийся, но все еще кажущийся достаточно крупным и крепким, чтобы бросить вызов самой Смерти. Однако это была лишь тень некогда геркулесовой стати: одежда висела свободно на исхудавшем теле.

– Превосходно, – сказал он, довольный, что застал их вдвоем. – Значит, вы уже успели подружиться, пока меня не было?

– Мы и прежде были друзьями, – ответила Флора, – ведь я знала, как ты любишь доктора Олливанта.

– Ты ведь останешься к ужину? – спросил Марк. – Флора споет нам, пока мы будем пить вино.

Доктор замялся. Он был человеком читающим и ценил свои тихие вечера, да и мать, наверное, будет ждать его к ужину. Конечно, его экипаж ждал внизу, и можно было отправить кучера домой с запиской. Но она все равно расстроится – доктор редко ужинал не дома. Долг и рассудок взывали: «Отправляйся на Уимпол-стрит», но голос сердечной привязанности заглушил их, и он остался.

– Я не пью вина после ужина, – сказал он. – Но останусь, чтобы послушать, как поет мисс Чемни.

# Глава III

Молодой человек, которого мисс Чемни время от времени видела из своего окна – тот самый, живший через три дома, – был учеником художника, но не из тех, кто корпит над сложными, нудными работами: юноша был богат, и с точки зрения здравого расчета было вовсе не важно, трудолюбив он или ленив. Но он обладал страстью к искусству как таковому и честолюбивым желанием завоевать себе имя среди современных живописцев, а потому работал – или делал вид, что работает, – неистово. Впрочем, манера его занятий отличалась некоторой необязательностью и, как для Флоры, завершить картину для него было сложнее, чем ее начать. Как и мисс Чемни, он убеждался, что человеческая анатомия сама по себе, без вспомогательного очарования одежды, – на редкость скучное явление и что человеческий скелет со всеми его костями мало удовлетворяет воображение. Длительное изучение отдельных конечностей, как бы разнообразно ни было развитие их мускулатуры, способно утомить самый пламенный дух.

– Полагаю, Рубенс занимался тем же самым, – говорил некто мистер Лейберн после тяжелого дня в частной художественной школе неподалеку от Фицрой-сквер. – Он не смог бы так сокрушительно передать перспективу мертвого Христа в Антверпенском музее, не изучай он анатомию в ее предельной строгости. Но, о, как бы я хотел поскорее пройти через все это и приняться наконец за свою первую историческую картину! Иногда эти бесконечные плечи, локти и коленные суставы кажутся сущим вздором. Ведь я вовсе не собираюсь делать себе имя на полуголых греках и римлянах, Ясоне и золотом руне, Тесее и Ариадне, Горации – как его там – и прочей подобной чепухе. Если бы когда-либо я смог нащупать дорогу вглубь веков, во времена, предшествующие испанской Армаде, то возможно, что в «Таймс» поместили бы сообщение обо мне как об анахронизме. Нет, Мария Стюарт, Босвелл, убийца регента Морея, совершивший свое деяние из окна в Линлитгоу, – я потратил бы свои деньги для того, чтобы предотвратить это.

Так рассуждал Уолтер Лейберн, вполголоса обращаясь к товарищам и вполголоса – к себе самому, складывая рисунки в портфель и готовясь отправиться домой. Незаурядный молодой человек – более того, красивый, с выражением ясным и радостным, как летнее утро: голубые глаза, прямой греческий нос, светло-каштановые усы с опущенными концами, тщательно подправленные, лишь наполовину скрывавшие несколько женственный рот. Каштановые длинные волосы, как у Рафаэля, артистический костюм из черного бархата, блестящие сапоги, в которых не стыдно было пойти даже в клуб на Пэлл-Мэлл[3], длинные белые руки без перчаток, веточка жасмина в петлице; черный бархатный берет вместо положенного цилиндра – в его образе была странная смесь богемности и изысканной франтоватости.

Таков был тот самый джентльмен, которого Флора то и дело замечала из окна. Она могла бы видеть его и чаще, если бы стала целенаправленно наблюдать за ним: беспорядочные привычки заставляли его покидать дом куда чаще, чем того требовали занятия живописью. У него были приятели – собратья по искусству, – разбросанные по округе, и, когда его посещала новая, свежая мысль, он накидывал свой шотландский берет и стремглав летел делиться вдохновением с тем, кто способен его понять. У него были договоренности о дружеских обедах из устриц или о кружке горького эля с бутербродами в трактире на Рэтбон-плейс, или ему требовалась какая-нибудь мелочь из принадлежностей для живописи в том же районе. Так что он постоянно носился туда и обратно под любым предлогом. Каждый вечер он посещал театр или

[3] Пэлл-Мэлл – центральная улица в Вестминстере. В Викторианскую эпоху почти все главные клубы английских джентльменов проводили заседания в особняках на Пэлл-Мэлл. Кроме того, именно здесь поначалу располагались Королевская академия художеств и Лондонская национальная галерея.

другое увеселительное заведение, где слушал «Разбойничью песню»[4], ел горячие тосты с сыром у Эванса и до полуночи играл в бильярд, а домой возвращался за полночь в экипаже, громыхая дверцами без всякого стеснения. Окна в комнате Флоры выходили на улицу, и она привыкла слышать эти полуночные возвращения и громкий смех молодого человека, поддразнивающего кучеров. Казалось, он щедро платил им, ибо от тех никогда не слышалось ни жалоб, ни даже недовольного ворчанья – лишь обмен остротами и дружеские пожелания спокойной ночи.

Жизнь эта казалась Флоре безудержной, чуть ли не порочной, и все же ученик художника представлялся ей существом скорее приятным. Неужели не находилось никого – ни близкого друга, ни отца, ни матери, ни дяди, ни тетушки, ни сестры – никого, способного обуздать такой буйный нрав, удержать такого красивого молодого человека от гибельного пути? Флора искренне жалела его.

Она очень удивилась, когда отец вернулся из Сити – таинственного места, куда Марк Чемни изредка наносил визиты, – и, весело потирая большие ладони, воскликнул:

– Флора, я кое-кого встретил. Круг наших знакомств расширяется. Если так пойдет и дальше, придется купить тебе небольшой экипаж, чтобы ты могла ездить в гости. Только, к несчастью, этот молодой человек, насколько я понял, совершенно одинок.

– Молодой человек, папа? – воскликнула Флора. – Кто же это? Младший брат доктора Олливанта?

– У Олливанта отродясь не было брата. Попробуй отгадать еще раз, только теперь ближе к дому, Фло. Что ты скажешь, если это окажется тот самый молодой человек в бархатном жакете – тот, из-за которого ты так часто дразнила меня и просила встать с кресла со словами «быстрее, папа, он сейчас повернет за угол»?

– Но, папа, ты ведь не мог просто подойти к нему на улице и предложить дружбу? – вскрикнула Флора, заливаясь румянцем до самых корней волос при одной мысли о таком нарушении приличий, которым мисс Мейдьюк из Ноттинг-Хилл возмутилась бы, не требуя за это дополнительной платы.

– Не совсем так. Но что ты скажешь, если этот молодой человек имеет самое прямое, хотя и несколько опосредованное, отношение к моей прошлой жизни?

Флора решительно покачала головой:

– Этого быть не может, папа. Это уже смешно.

– Почему смешно? Из-за того, что он носит бархатный сюртук? Или потому что ты следишь за ним из окна?

– О чем ты говоришь, папа? Какое отношение он может иметь к твоему прошлому? Ты ведь не художник и никогда им не был.

– Его дядя тоже не был художником, Фло. Но он был моим работодателем и впоследствии деловым партнером в Австралии. Он рано женился, но, как ты знаешь, детей у него не было.

Флора кивнула. Она слышала рассказы отца о его австралийских приключениях бесчисленное множество раз и никогда ими не тяготилась.

– И когда он умер, все свое состояние он завещал единственной сестре, даже не зная, что она уже умерла к тому времени. Он никогда не удосуживался даже послать ей десятифунтовую банкноту или поинтересоваться, нуждается ли она в ней, и умер, оставив ей шестьдесят тысяч фунтов.

– А при чем здесь тот молодой художник, что живет через три дома? – спросила Флора в полном недоумении.

– А при том, что он и есть племянник, унаследовавший эти шестьдесят тысяч.

---

[4] Знаменитая песня XIX века, написанная Генри Роули Бишопом в 1816 году на слова шотландской поэтессы Джоанн Бейли.

– Боже правый! – воскликнула Флора с разочарованным видом. – А я-то думала, он бедствующий художник и рано или поздно вынужден будет покончить с собой, если не сумеет продать картину. Теперь понятно, почему он так обходится с кучерами.

– Как обходится? Какими кучерами?

Флора объяснила.

– Ты хочешь сказать, что уже познакомился с ним, папа? – спросила она затем.

– Совершенно случайно. Когда я вернулся, я вложил немного денег – всего несколько лишних тысяч – в судоходное дело, как ты знаешь. У меня ведь никогда не было от тебя секретов, моя дорогая. Так вот, я отправился сегодня утром в контору Джона Маравильи – ну ты помнишь, он агент, – чтобы сделать пару запросов, и именно там я встретил нашего друга в бархатном жакете. Правда, он тогда оделся поприличнее, ведь он явился в Сити, но я узнал его по длинным волосам. Он развалился за столом Маравильи, расспрашивая о кораблях и перевозках. Маравильи тараторил в своей обычной манере и посмеивался, словно за завтраком успел заработать полмиллиона, и он представил нас: «Вам стоит познакомиться с мистером Лейберном, – сказал он, – у него шестая доля на «Сэре Галахаде». «Имя Лейберна я знаю и без кораблей, – сказал я. – У вас не было родственника по фамилии Фергюсон?» «К счастью, был, – ответил молодой человек с длинными волосами. – Если бы не он, мне бы никогда не досталась доля на “Сэре Галахаде”. Дядя мой, Джон Фергюсон, оставил мне все свое состояние». «Он был моим первым и единственным работодателем и лучшим другом», – сказал я, и мы оказались в самых приятельских отношениях меньше чем через пять минут. А сегодня вечером он придет к нам обедать.

– О папа! – воскликнула Флора, не сумев скрыть радостный порыв.

– Что ж, ты довольна, озорница? – сказал отец, задумчиво поглядывая на нее.

– Я обожаю художников, папа, и он выглядит куда приятнее тех, что живут по соседству.

– Ему есть чем щегольнуть, – заметил мистер Чемни. – Он получает проценты с шестидесяти тысяч, может и бархатом себя побаловать, если только он не растерял часть капитала. Да, придет он ровно в семь. Мне показалось, мы должны быть с ним вежливы ради его покойного дяди, который, несмотря на привязанность к бренди, был мне добрым другом.

– Разумеется, папа, – сказала Флора. – Это самое малое, что мы можем сделать. Может, он и мне немного поможет с живописью. Я копирую этюд, называется «Гюльнара» – там девушка с длинными косами и в чудесной маленькой греческой шапочке, но вот беда – тени на лице у меня неизменно выходят пурпурные, будто несчастная Гюльнара переборщила с румянами. Может быть, мистер Лейберн… красивое ведь имя, правда, папа?… подскажет, как исправить тон кожи.

– Может быть, – рассеянно отозвался отец. – Вот как странно получилось, дорогая. Когда я разыскивал Катберта, я думал, что он единственный друг, что был и когда-либо будет у меня на свете. А теперь этот молодой человек будто стал мне племянником.

– Конечно, он и тебе племянник, раз он племянник мистера Фергюсона, а мистер Фергюсон помог тебе разбогатеть. Но, папочка, – произнесла Флора, покачав головой с важностью, – боюсь, он немного… порочный.

– Что значит порочный, малютка?

Так он звал Флору с детства. Еще в той далекой австралийской жизни он звал ее малюткой и думал о ней как о малютке, и теперь мистеру Чемни было приятно называть ее так же.

– О, папа… он ужасно ветреный, безмерно распущенный. Каждый вечер возвращается за полночь в кебе. А ведь кататься в кебе куда порочнее, чем в двуколке. Мне так миссис Гейдж сказала: «Двуколки и распутство неотделимы, мисс Флора».

Миссис Гейдж была особа загадочная – пожилая, плаксивая и видавшая лучшие дни. Ее мистер Чемни пристроил к себе экономкой.

– Не слушай ты миссис Гейдж. Надеюсь, в этом молодом человеке все же нет ничего плохого, кроме того, что он поздно возвращается домой. Мне не хочется к нему придираться: в его манерах есть что-то открытое и приятное. Да и не пригласил бы я его к себе домой, если бы счел человеком распущенным.

– Может быть, двенадцать… или двенадцать с четвертью – вовсе не так поздно, папа? – задумчиво произнесла Флора.

– Откуда ты знаешь точное время, малютка?

– Я всегда невольно слышу, как он возвращается, папа, – как будто прямо у меня под окном.

Остаток дня Флора пребывала в радостном волнении. У них совсем не было знакомых, кроме доктора и миссис Олливант, и для нее было необычно ждать гостя к обеду. Она уговорила отца отвезти ее в Ковент-Гарден за фруктами, купила бананы, гранаты, опунции и много иных диковинных творений природы, красота которых обманчиво скрывала полное отсутствие вкуса. Но таково было ее девичье желание – украсить стол чем-нибудь необычным, даже живописным, чтобы поразить глаз художника формой и цветом.

Миссис Гейдж велено было приготовить достойный ужин, но ум этой почтенной дамы никогда не восходил выше супа из бычьих хвостов, головы трески, ростбифа и вареной курятины, поэтому никакой оригинальности от нее ждать не приходилось.

«Думаю, он вовсе не привередлив в еде, – размышляла Флора, которой уже казалось, будто она прекрасно знает молодого человека. – Он выглядит куда выше подобных мелочей. Только бы он не напился – это было бы ужасное бесстыдство, и папа больше никогда его не позовет».

Мысль эта страшила ее; но чего еще ждать от молодого человека, который возвращается в кебе?

После возвращения из Ковент-Гардена с грузом всех этих тропических диковинок, у них еще оставалось время до ужина. Флора провела его, раскладывая и перекладывая свои рисунки, не зная, какой из них осмелиться показать мистеру Лейберну. Показать надо было непременно, иначе как он сможет дать ей совет о правильном тоне кожи? Но Флора ужасно робела перед ним, и все рисунки представлялись ей невыразимо дурными. Рот у Джульетты был кривой, у Гюльнары левый глаз принял сомнительно пьяный вид, а старик с белой бородой – этюд «Благожелательность» – при свече оказался куда более красным, чем можно было ожидать. Букетик камелий, который она срисовывала с натуры, был как будто вырезан из брюквы, ваза с фуксией навевала мысль о маринованной капусте. Флора в отчаянии захлопнула папку.

«Лучше показать ему все сразу, чтобы он сразу понял, какой жалкой мазней я занимаюсь, – сказала она себе. – Ах, если бы он был беден, я могла бы брать у него уроки за деньги в качестве благотворительности».

И, помчавшись переодеваться, она распустила темные струящиеся волосы, снова уложила их самым чарующим образом – широкая тяжелая коса обвивала ее маленькую голову, словно диадема, – и надела платье из голубого шелка, то самое, что отец так часто хвалил: богатое кружево обрамляло стройную шею, свободные рукава лишь наполовину скрывали нежные округлые руки. Денег на наряды у нее было в избытке, и она охотно предавалась девичьим прихотям – медальоны, ленты, кружева, все, чего она так страстно желала в школьные годы.

Багровые, выцветшие от времени портьеры были опущены, в двух гостиных горел камин, придавая комнатам почти уютный вид, несмотря на их пустоту. Марк Чемни расположился в любимом своем кресле – твердом, как булыжник, но просторном, – вытянув ноги на ковре, в своей обычной позе, он читал вечернюю газету.

– Черт возьми, не понимаю, что забавного мужчины находят в этих газетах, – проворчал он.

– Ты всегда так говоришь, папа, но все равно их читаешь.

– Не люблю книг, малютка. Мне нравится читать о том, что произошло недавно. Что толку в истории? Эта неделя опровергает предыдущую. Мне незачем знать, что было, – я хочу знать, что есть. Ах, как ты принарядилась! Не часто ты надеваешь это голубое платье.

– Я подумала… у нас ведь гости, папа…

– Гости! Это ведь всего лишь молодой сосед, что живет в трех домах от нас… А, вот и он стучит!

Сердце Флоры тревожно дрогнуло. Она думала о своих ужасных этюдах наверху и гадала, наберется ли мужества их показать, – и еще чуть-чуть она думала о том, каким же окажется этот художник, которого до сих пор видела лишь мельком. Он вошел в комнату, пока она об этом думала. Его представили, и он пожал ей руку легко, быстро, вовсе не бестактно.

Он, несомненно, был хорош собой – в этом нельзя было усомниться. Более того, он был красив и к тому же одет в вечерний костюм с иголочки. Единственной причудой в его облике были длинные светлые волосы. Флора ожидала увидеть его в бархатном черном пиджаке, быть может, со следами краски – явным признаком того, что он лишь на минуту отложил палитру, но вот он предстал перед ней нарядным, безукоризненным, неотличимым от прочих молодых людей. Флора почти разочаровалась.

Он оказался самым легким в обращении человеком на свете, его общительность служила своеобразным ключом, отворявшим двери храма дружбы. Он тут же рассказал им все о себе – о своих стремлениях, надеждах, о намерении вскоре уехать в Рим на год или два, чтобы работать там усердно, будто бы в воздухе Вечного города заключено некое свойство, непременно пробуждающее рвение к труду.

Он расспрашивал о дяде, которого никогда не видел, о странной жизни среди одиноких овечьих пастбищ и тем самым подвигнул Марка Чемни на доверительный рассказ и длиннейшие истории. В итоге это был необыкновенно приятный ужин – куда веселее того вечера, когда у них обедал доктор Олливант, который, при всей своей учености, говорил куда менее занимательно, чем Уолтер Лейберн.

После десерта, который удался, несмотря на колючесть и волокнистость заморских плодов, они поднялись наверх. Флора с величайшим облегчением заметила, что художник выпил только бокал вина за весь ужин. Стало быть, он не склонен к неумеренности – пороку, который она воображала обычным для гениальных людей, которые возвращаются домой за полночь. К тому же было до смешного приятно видеть, как охотно он принял чашку чая, который она через некоторое время ему подала, – словно был самым благоразумным из молодых священников.

Он заметил открытое фортепьяно, едва пригубил чай, и лицо его оживилось.

– Вы играете и поете, верно? Я так и думал.

– Только самые простые вещи, – тихо ответила она. – Немного Мендельсона, где ошибки в полутонах не так страшны, – и старинные песенки, которые любит папа. У меня есть целый сборник этих милых песен, он принадлежал моей маме. Вы, вероятно, посмеялись бы, взглянув на них: ноты уже поблекли, бумага выцвела, но для меня он прекраснее всего, что можно купить у продавцов нот.

– Уверен, они чудесны, – сказал Уолтер с горячностью. – Иначе вы бы их не пели.

«Наверное, он говорит так всем девушкам», – подумала Флора.

Она села к фортепьяно – по велению отца – и спела одну за другой старые баллады, любимые ее матерью, – нежные, печальные мелодии минувших лет: «Мы встретились» и «Она была в венке из роз», «Юная любовь обитала однажды в убежище скромном» и «Легкая гитара». Уолтер Лейберн склонился над инструментом, завороженно слушая, – ей даже не нужно было переворачивать листы, ведь Флора играла наизусть, – и ему чудилось, что его час настал: что Судьба, уже одарившая его весьма щедро – шестьюдесятью тысячами фунтов, – теперь желает до края наполнить чашу его счастья, даруя ему это новое, еще более драгоценное благо.

Марк Чемни откинулся в своем любимом кресле и курил, вытянув ноги. Табак был его главным утешением в одинокие годы на другом конце света, и никто не мог ожидать, что его маленькая девочка станет ограничивать его в этом удовольствии. Он наблюдал за двумя фигурами у фортепьяно. Молодой человек казался воплощением всего, что подобает юности: откровенный, пылкий, щедрый душой. Удивительный случай сделал их соседями, и это казалось даже чем-то большим, чем случайность, – будто сама судьба создала двух молодых существ почти одного возраста и одарила их общими увлечениями и чертами.

«Это будет даже естественно, если…» – подумал мистер Чемни и не счел нужным завершать мысль: конец был слишком очевиден.

Исполнив обязанности перед отцом и спев его любимые баллады, Флора, робея и запинаясь, осмелилась заговорить о живописи.

– Признаюсь, рисовать очень трудно, – сказала она задумчиво, еще сидя на табурете, глядя на клавиши и медленно касаясь черных нот, будто ища вдохновения в диезах и бемолях. – Я не имею в виду, что хочу стать как Рафаэль, Тициан или какой-нибудь из этих…

– Грозных светил, – подсказал Уолтер, видя, как она запуталась.

Она чуть улыбнулась и стала смелее.

– Я хочу рисовать хотя бы сносно, для собственного удовольствия.

– Значит, вы рисуете! – воскликнул молодой человек восторженно.

– Я этого не говорила.

– О да, вы сказали. Прошу вас, покажите мне ваши работы.

– Они ужасны, – взмолилась Флора.

– Уверен, они чудесны – ничуть не хуже Розы Бонер[5].

– О нет, ну что вы. Я совсем не рисую животных…

– Я настаиваю: покажите их мне сейчас же.

Отец позвонил в колокольчик, велел принести портфолио мисс Чемни. Времени на размышления не осталось: едва она успела опомниться, папка уже лежала раскрытой на столе, и Уолтер Лейберн рассматривал рисунки, что-то бормоча, хмурясь и в конце концов улы- баясь.

– Честное слово, это очень талантливо, – бодро сказал он и стал указывать, что именно неверно: где нарушена линия, где кисть была слишком тяжела. – Вам не следовало так спешить с красками, – заметил он, и Флора пришла в отчаяние: что стоит жизнь художественной души семнадцати лет, если нельзя возиться с крас- ками?

– Но рисовать карандашом так скучно, – воскликнула она, приподнимая красивые брови.

– Вовсе нет, если подойти к делу серьезно, – возразил мистер Лейберн, забыв собственные недавние слова отвращения по поводу мускулатуры гладиатора. – Если бы ваш отец позволил мне время от времени навещать вас, чтобы я мог направить вас на верный путь… Я мог бы одолжить вам несколько гипсовых фигур для копирования. Нужно учиться рисовать с натуры – хотя бы простой шар, например…

Флора засияла, хотя и взглянула на отца с сомнением.

– Не вижу препятствий, – сказал мистер Чемни. – Назовите удобный час, я буду здесь и прослежу, чтобы моя малютка была прилежной ученицей.

Все было тут же решено. Они договорились также, что на следующий день мистер и мисс Чемни посетят мастерскую мистера Лейберна.

– Вам, наверное, будет интересно увидеть мастерскую настоящего художника, – сказал Уолтер с явной гордостью за эпитет «настоящий». – А если окажете мне честь и пообедаете со мной, я все устрою лучшим образом, насколько способен жалкий холостяк.

Сказано это было с величайшим презрением к собственному положению, будто он был самым презренным обитателем земли. Флора сложила руки на груди и затрепетала от радости.

---

[5] Роза Бонер (1822–1899) – французская художница, одна из крупнейших анималисток XIX века.

– О папа, прошу, пожалуйста, давай сходим! – воскликнула она. – Я никогда в жизни не была в настоящей мастерской.

Приглашение было принято: мистер Чемни всего лишь хотел потакать всем желаниям своей девочки.

# Глава IV

За обедом в мастерской последовал еще один обед у мистера Чемни, затем – уроки дважды в неделю. Их близость крепла с каждым днем, и спустя две недели столь стремительного сближения мистеру Чемни вдруг пришло в голову, что ему следовало бы познакомить своего нового друга Лейберна со старым другом Олливантом. Любопытная случайность, приведшая к этому знакомству, без сомнения, пришлась бы по душе доктору и к тому же не могла не заинтересовать его и та романтическая мысль, что скрыто теплилась в душе отца Флоры.

В это самое время Флора получила небольшое письмо от миссис Олливант:

*«Дорогая мисс Чемни!*

*Почему вы ко мне не заходите?*

*Пожалуй, мне следовало сразу предупредить вас, что я – женщина пожилая (хотя вы и сами могли бы это увидеть), и в силу неизменной привязанности к собственному камину я не наношу никому визитов, так что не ждите от меня ответных посещений. Мы живем так близко, что я смею просить вас хоть изредка проводить у меня вечера и без особого приглашения. Если ваш отец придет вместе с вами – тем лучше. Доктор всегда будет рад его видеть.*

*Кстати, я слышала, что вы необычайно хорошо поете, поэтому прошу вас захватить с собой ноты.*

*Искренне ваша, ЛЕТИЦИЯ ОЛЛИВАНТ».*

«Значит, доктор похвалил мое пение, – с недоумением подумала Флора. – А ведь он едва ли сказал мне хоть одно милое слово. Только смотрел на меня своими темными, строгими глазами. Совсем не так, как мистер Лейберн».

Мистер Лейберн к тому времени уже сознался, что обладает тенором, и целые вечера посвящались дуэтам из опер Моцарта.

– Сегодня вечером отправимся на Уимпол-стрит, – заключил мистер Чемни, прочитав письмо миссис Олливант.

– Конечно, папа… но вдруг мистер Лейберн зайдет?

– Ну, ничего не поделаешь, малютка. Я всегда рад, когда он заглядывает, но нельзя же сидеть дома каждый вечер.

– Конечно, ты прав, – несколько огорченно ответила Флора. – А ведь у нас только стал получаться второй дуэт.

– Еще успеете исполнить все что угодно. Видишь ли, Фло, мне кажется, я должен познакомить доктора с нашим новым другом.

– А он здесь при чем, папа?

– Во-первых, он мой давний друг, а во-вторых… я почти что считаю его твоим опекуном.

– Опекуном? – Флора в испуге подняла глаза. – Папа, зачем мне опекун? У меня есть ты.

– Пока я есть – не нужен, верно. Только… только люди, знаешь ли, смертны…

– Папа, папочка! – Флора кинулась к отцу на грудь и крепко его обняла. – Как ты можешь говорить такие ужасные вещи!

– Это жизнь, малютка. Всеобщая болезнь – мы все ею заражены. Но не бойся, милая. Я не говорю, что намерен вот-вот отправиться в мир иной. Только недавно я составил завещание – это дело для каждого человека неизбежное – и назначил Олливанта твоим опекуном и попечителем. Ты ведь не возражаешь, Фло?

– Возражаю. Мне не нужен опекун, не нужен попечитель. Мне нужен только ты, папа.

– И я всегда буду с тобой, дорогая. Ровно столько, сколько Господу будет угодно. Да продлит Он это время ради нас обоих.

Флора еле слышно повторила его молитву, захлебываясь слезами.

Миссис Олливант встретила их в своей чопорной гостиной, где ничто не менялось от недели к неделе: кресла с обивкой из алой парчи, купленные когда-то на местном аукционе, неизменно стояли, повернувшись спинками к стене, на столиках лежали те же самые пресс-папье, конверты, флаконы с духами и альбомы, что и в раннем детстве Катберта украшали главную комнату в Лонг-Саттоне. На каминной полке – все те же безжалостно черно-золотые часы в притворно-греческом стиле времен Французского консульства, черно-золотые канделябры со сфинксами, несколько чашек и блюдец восточного фарфора. Над камином – зеркало в черно-золотой раме, вторившей овалу зеркала у противоположной стены. У длинных узких окон высились худосочные консоли с узкими зеркальными плитами наверху и теми же чашками и блюдцами внизу. Старинный брюссельский ковер некогда переливался цветами всех свежих овощей, но теперь он выцвел до бледных серых, желтовато-зеленых и темно-бурых тонов. Комната производила впечатление бедности и увядания, но миссис Олливант считала ее прекрасной и не терпела ни пылинки на блестящих столешницах и спинках кресел.

Она сидела за рабочим столом, читая при слабом свете лампы с абажуром, когда пришли ее посетители. Сын обычно мог провести с ней не больше часа после ужина и теперь, исчерпав отпущенное время, удалился в свой кабинет.

– Зажги свечи, Джеймс, – сказала она дворецкому, – и скажи Катберту, что мистер и мисс Чемни здесь. Ни одна другая фамилия не оторвет его от книг, – добавила она благосклонно.

Слуга зажег пару восковых свечей в египетских канделябрах, слабым светом озарив область камина и еще слабее – темную глубину зеркала.

Даже после собственной пустынной гостиной на Фицрой-сквер Флоре казалось, что тускло освещенная комната Олливантов дышит унынием. Там, на Фицрой-сквер, жизнь напоминала походный лагерь, и в этом была своя прелесть. Здесь же каждый предмет говорил о прошлом: о давно умерших людях, о неисполненных мечтах, о напрасных надеждах, о неизъяснимой тоске вещей, которые дожили до старости.

Миссис Олливант, подобно своим старинным вещам, будто принадлежала прошедшей эпохе. Она носила прическу и платье в том самом стиле, как их носили в Лонг-Саттоне тридцать семь лет назад. Темные волосы прятались под кружевным чепцом мехеленского кружева – свадебным подарком, закрепленным черепаховой шпилькой, принадлежавшей ее матери, так же, как и аметистовая брошь, скреплявшая воротник. Ее платье из темно-серой тафты было сшито в том же скромном и строгом стиле, как шила ей когда-то мисс Скиптон, лучшая портниха Лонг-Саттона. Она не изменила ровным счетом ничего, и время, казалось, смягчило свои прикосновения, едва наметив на спокойном, вдумчивом лице следы долгих лет. Ни страсть, ни злоба не оставили на нем своих отметин. Трудно было представить лицо, более выражающее внутреннее спокойствие и ясность духа. И все же в нем таилось какое-то неопределенное сожаление – словно перед тобой женщина, прожившая жизнь лишь наполовину, впавшая в спячку вместо того, чтобы жить, как подобает теплокровному существу.

Она просияла от радости при виде Флоры, протянула к ней руки – та ответила робко – и поцеловала с большей материнской нежностью, чем мисс Мейдьюк.

– Как мило с вашей стороны, мисс Чемни…

– Дорогая миссис Олливант, прошу, зовите меня Флора…

– Флора, конечно. Как мило, что вы вспомнили об одинокой старой женщине.

– У меня не так много друзей, чтобы я могла забыть о вас, да и будь их у меня хоть сотня, уверена, вас бы я не забыла. Но у нас появился новый друг, и папа вам сейчас расскажет.

– Новый друг?

– Новый друг? – Эхом откликнулся голос у двери.

Они обернулись и увидели доктора Олливанта. Его лицо было серьезным и внимательным. Он медленно вошел, словно человек, изнуренный дневными трудами, и пожал им руки – сперва Флоре, на миг задержав на ее пылком лице пристальный взгляд, затем ее отцу.

– И где же ты подцепил нового друга, Чемни? – спросил он, усаживаясь в свое любимое кресло, в то время как Флора, по просьбе миссис Олливант, сняла кокетливую шляпку и короткую шубку из тюленя.

– Тут ты прав: я буквально его подцепил. Я, кажется, говорил тебе на днях, что увлекаюсь судоходными делами – всего-то на несколько лишних тысяч, но все же… – И он принялся излагать свою историю, а доктор Олливант слушал с видом столь суровым, что можно было подумать, будто он выслушивает признание в преступлении и размышляет, как бы помочь другу избежать каторги.

Флора наблюдала за ним с тяжелейшей досадой. Он не выразил ни тени восторга, даже не поздравил их с этим новым чудесным знакомством – молодой художник с восхитительным тенором и безграничной готовностью наставлять ее в искусстве рисования.

– Если хочешь знать мое мнение, Чемни, – сказал наконец доктор, по-прежнему глядя в огонь, словно вгрызаясь мыслью в пламя, – то ты совершаешь большую глупость.

– Что?

– Это крайне необдуманный поступок. Ты впускаешь молодого человека в свой тесный круг, распахиваешь перед ним двери и почти что принимаешь его в семью лишь на том основании, что ты был знаком с его дядей. Ты ничего не знаешь ни о его нравах, ни о прошлом, ты даже не знаешь, чем он живет. Чем этот мистер… Лейберн – так, кажется, ты сказал? – лучше оттого, что приходится племянником какому-то Джону Фергюсону – человеку, который допился до смерти где-то в австралийской глуши?

– Я обязан Джону Фергюсону каждым пенни, что у меня есть, – проворчал Чемни.

– Может, и так. Уверен, и он тебе обязан тем, что не промотал свои сбережения до последнего пенни. Так или иначе, я не понимаю, чем этот Лейберн заслужил твое доверие. И если уж тебе интересно мое мнение, Марк, и ты по глупости впустил в свой дом этого проходимца, постарайся как можно скорее выпроводить его восвояси. В переносном смысле, разумеется.

– Надеюсь, – пролепетала Флора, чуть не плача. Ей едва ли доводилось столь горько разочаровываться: немыслимо было видеть такую сухость и недружелюбность от их старого друга. – Мистер Лейберн вовсе не тот человек, который позволил бы себя выгнать, даже папе. А называть его проходимцем – жестоко и несправедливо с вашей стороны, доктор Олливант: вы ведь его совсем не знаете. Уверена, увидев его мастерскую, вы бы иначе заговорили: там все так аккуратно, все по полочкам разложено, позволю себе даже сказать – прямо по-джентльменски. А гипсовые фигуры в самых замысловатых позах, превосходно скопированных мелом… Он нам показывал эти наброски, не правда ли, папа?

Мистер Чемни кивнул. Он с готовностью выслушал нотацию старого друга. Разве Олливант не читал ему нотации еще двадцать два года назад – о том, что он неспособен изучать Вергилия и слишком туго соображал, когда речь заходила о гиперболах и параболах?

Доктор Олливант взглянул на Флору вдумчиво, почти испытующе, с оттенком пренебрежения – как на легкомысленное дитя, но и с долей интереса – как на забавную молодую особу.

– Хорошо, пусть будет так, – произнес он. – Считаем молодого человека безупречным.

– Он чудесно поет, – прошептала Флора.

– Допустим, что он – действительно ценное приобретение. Не тревожься, мама, мы с мисс Чемни ссориться не станем. Вы споете моей матери те старинные баллады попозже, не так ли, мисс Чемни?

– Зовите меня Флорой, пожалуйста, – произнесла она, умиротворенная его частичным извинением. – Никто не называет меня мисс Чемни.

– Даже мистер Лейберн.

– Ну что вы, он-то конечно. Но он ведь молодой че- ловек.

– Понимаю, это меняет дело. Тогда я буду звать вас Флорой, а если вы еще сердитесь на меня, то могу звать вас малюткой, как ваш папа…

– Нет, прошу вас, ни в коем случае. Никто, кроме папы, не называет меня этим глупым прозвищем.

В это мгновение появился слуга доктора с чайным подносом и по распоряжению хозяина зажег еще несколько свечей на старинном пианино в гостиной. Миссис Олливант заварила в чайнике чай и подала его в сервизе – свидетельствах признательности больных Лонг-Саттона за искусство врачевания ее мужа, – заварила по-старому, по-английски, и весьма обрадовалась, услышав похвалу ее чаю.

После чая Флора согласилась спеть, хоть и неохотно. Она еще не простила доктору его грубые высказывания относительно художника – ее художника, первого гения, которого она встретила, первого человека, говорившего о Тициане, Рубенсе и Рейнольдсе так, словно стоял рядом с ними у мольберта. И серьезные темные глаза доктора, что так часто останавливались на ней с чинной внимательностью, уже не внушали ей той доверчивой симпатии, что тогда на Фицрой-сквер. Тогда она верила ему, была готова распахнуть перед ним свое чистое невинное сердце как перед лучшим другом отца. Теперь же она смотрела на него по-новому, почти с ужасом: если Господь заберет у нее отца, этот человек встанет между ней и внешним миром, станет ее законным опекуном, а может быть, и настоящим тираном.

Она смутно представляла себе полномочия опекуна – на что он имеет право и на что не имеет. Но ей казалось, что власть его должна быть огромной. Он будет для нее почти отцом по закону – будет иметь над ней отцовскую власть, но не будет любить ее, как отец.

Один лишь прозрачный намек на то, что ее отец может умереть и смерть может разрушить их счастливый союз, пронзил ее душу, как порыв ледяного северного ветра. С болезненной пустотой в сердце она села за свои старинные баллады, и голос ее в «Земле верных»[6] звучал еще печальнее обычного. О, если бы и она могла просто отплыть в лучший мир, когда придет час ее отца, – тогда им не пришлось бы расставаться, и ей, так горячо любившей, не пришлось бы оставаться одинокой сиротой на этом холодном свете!

Миссис Олливант похвалила ее голос, но посетовала, что Флора выбрала столь печальные песни, – а она действительно спела самые грустные. Весь вечер Флора тихо просидела у камина, слушая разговор отца и доктора. Попытки миссис Олливант разговорить ее оказались тщетны. С той минуты, как отец обмолвился о возможности своей смерти, Флоре стало казаться, что она на самом деле испытывает эту боль и несчастье, и радость навсегда покинула ее.

Марк Чемни говорил на свою излюбленную тему – об Австралии, – а доктор Олливант слушал, как всегда, внимательно, отвечая немногословно, лишь для того, чтобы поддержать диалог. Потом он задал несколько вопросов о планах Чемни на будущее.

– Ты ведь не собираешься остаток своей жизни провести в этом старом доме, который ты снял? – спросил он. – Работающему человеку вроде меня все время приходится торчать в Лондоне, это понятно. Но если ты оседаешь на одном месте, то считай, что ты наполовину мертв. Мне кажется, как только зима закончится, ты должен вместе с дочерью отправиться в путешествие и показать ей мир – гораздо больший, чем тот, что она могла видеть на школьных картах.

– Я бы и рад, – задумчиво ответил тот, – только вот… я ведь твой пациент. Как думаешь, хватит ли у меня сил для путешествия?

---

[6] «Земля верных» – трогательная баллада о прощании, написанная в конце XVIII века поэтессой леди Каролиной Нэрн. Баллада стала популярным шотландским гимном, часто исполняемым на похоронах и торжественных мероприятиях.

Флора, затаив дыхание, наблюдала за доктором, но его всегда спокойное лицо не открывало ей ничего – было лишь понятно, что Катберт Олливант по природе своей серьезен и вдумчив и не из тех, кто легкомысленно болтает или легко отступает от цели.

– Конечно, ты не сможешь подняться на Монблан[7] или на Юнгфрау[8], – заметил он с легкой улыбкой – той самой обнадеживающей улыбкой, что часто порождала тщетные надежды в сердцах больных. Но ведь надежда – лучшее лекарство для пациента, и доктор, лишенный надежды, редко может кого-то излечить. – Разумеется, ты уже не так силен, как двадцать лет назад. Но перемена мест и неторопливые путешествия – путешествовать нынче необыкновенно легко – принесли бы тебе огромную пользу, а заодно доставили бы удовольствие мисс Чемни, – он все еще не мог заставить себя назвать ее по имени, – которая будет невыносимо страдать, если ты и дальше собираешься держать ее взаперти на Фицрой-сквер.

– Но я ведь совсем не взаперти, – поспешно возразила девушка. – Мы совершаем чудесные прогулки, правда, папа? Мы гуляем по скверам, а иногда и в Риджентс-парке[9]. Я очень счастлива в Лондоне. Но вы и впрямь считаете, что путешествие пошло бы папе на пользу, доктор Олливант?

– Конечно.

– Если так, то мы поедем немедленно. Я готова отправиться хоть завтра.

– Я бы посоветовал дождаться хорошей погоды.

– Что ж, тогда дождемся хорошей погоды. Мы поступим так, как лучше для папы. Но он ведь не болен, доктор Олливант?

– Болен? – воскликнул Марк Чемни. – Почему эта бредовая мысль вообще взбрела в голову моей малютке?

Эта возмущенная реплика избавила доктора Олливанта от необходимости отвечать с обычной для него профессиональной обходительностью. Он чувствовал, что не сможет соврать этой девушке – даже если правда разбила бы ей сердце.

– Олливант, ты поужинаешь с нами завтра? – спросил мистер Чемни несколько позже, когда Флора уже надевала шляпку. – Сам взглянешь на нашего нового знакомого.

– Разумеется. Энтузиазм мисс Чемни пробудил мое любопытство. Теперь мне хочется увидеть этого образцового юношу.

Миссис Олливант сдержанно усмехнулась – отзвуком презрительной интонации сына. Его мнение было для нее законом. Стоило ему выразить неодобрение – и этого было более чем достаточно. В Лонг-Саттоне она была одинока, и единственное, что ей оставалось, – любить своего сына и восхищаться им. Да, с самого его рождения он был центром ее мира: во время долгой разлуки миссис Олливант жила лишь одной мыслью о нем, а после воссоединения существовала лишь затем, чтобы угождать ему. Он был ее ку- миром.

– Ну же, миссис Олливант, – сказал Марк своим добродушным тоном, не обратив внимания на ее иронию, – вы ведь придете вместе с Катбертом? Флора, попроси миссис Олливант прийти.

Но Флора не смогла простить ей насмешки и промолчала. Миссис Олливант извинилась, сославшись на то, что никогда никуда не ходит. На самом деле ее сын не заводил себе друзей, к которым мог бы водить ее на дружеские вечера. Он жил своей жизнью – уединенной и отстраненной, – а она жила только им.

– Разве моего сына вам недостаточно? – снисходительно улыбнулась она, – и он сможет составить мнение о вашем новом знакомом. Он очень тонко чувствует людей, поверьте.

---

[7] Монблан – высочайшая вершина Альп и всей Западной Европы (4806–4810 м), расположенная на границе Франции и Италии.

[8] Юнгфрау – горная вершина в Бернских Альпах в Швейцарии. Ее высота – 4158 м над уровнем моря.

[9] Риджентс-парк (*англ.* Regent's Park, то есть «Парк Регента») – один из главных королевских парков Лондона.

Будто бы она подразумевала: доктор вынесет приговор Уолтеру Лейберну как судья и присяжный одновременно.

– Папа, – сказала Флора, когда они ехали домой в экипаже, – кажется, мне больше не нравятся эти Олливанты.

– О нет, малютка, не говори так, ради бога, – встревоженно воскликнул мистер Чемни, – это достойнейшие люди – честные, совестливые. К тому же они мои единственные друзья.

– Кроме мистера Лейберна, папа.

– Дитя мое, мистера Лейберна мы в расчет не берем. Ты слишком импульсивна, Флора, и я уже начинаю думать, что совершил ошибку, пригласив его к нам…

– Только потому что твой ужасный доктор наговорил тебе всяких глупостей, папа.

– Нет, родная, не говори так! Нет на свете человека лучше Олливанта.

– Но, папа, ты ведь не видел его больше двадцати лет – за это время могло произойти что угодно! Человек может даже… не знаю, стать убийцей, например! Может, он был хорошим в школьные годы, но я уверена, что сейчас он просто отвратительный человек.

– Флора! Это возмутительно! – горячо вскричал мистер Чемни. – Ты должна говорить о докторе Олливанте с уважением. Повторяю, он мой единственный друг. Я двадцать лет жил как отшельник и совсем не заводил друзей. Я полагаюсь на него: он защитит тебя, когда меня не станет. Ну-ну, не плачь. Вот глупышка! Я лишь говорю о том, что может произойти в теории.

– О папа. Если действительно есть вероятность, что я потеряю тебя и мне придется отдаться на милость этого человека, я бы прямо сейчас выбросилась из экипажа, – произнесла непокорная Флора сквозь слезы.

# Глава V

Непокорная Флора несколько смягчилась на следующий день, когда доктор пришел к ним обедать и проявил к Уолтеру Лейберну особую учтивость. За прошедшие часы Катберт Олливант успел о многом поразмыслить и испытать немало стыда при мысли о своей мелочной вспышке раздражения, вызванной упоминанием какого-то неизвестного художника.

«Раз уж мне, быть может, суждено стать однажды опекуном его дочери – одному Богу известно, как скоро это произойдет, – я имею право вмешаться и хотя бы не позволить этому добродушному простаку приводить в дом сомнительных людей. Еще и художника – несомненно, богемного склада. И эта глупышка, кажется, уже влюблена в него. Но терять из-за этого терпение с моей стороны было неразумно».

Да, весьма неразумно. А Катберт Олливант отнюдь не был склонен к безрассудству. Он удивлялся собственной запальчивости и решил загладить эту ошибку особой вежливостью по отношению к назойливому живописцу, а заодно беспристрастно оценить эту ситуацию.

«Молодой человек приятной наружности, с шестьюдесятью тысячами фунтов, связанный с Чемни нитями прошлого и встреченный в огромном Лондоне по чистой случайности. Звучит словно сюжет романа. А логичным завершением романа была бы женитьба живописца на Флоре Чемни. Интересно, так и произойдет? Похоже, именно этого хочет Марк, и ему нужно мое одобрение».

Он расхаживал по своей приемной в конце рабочего дня, размышляя, хоть и думал об этом целый день, едва у него появлялась свободная минутка.

«В конце концов, это было бы наилучшим исходом и для меня. Если она выйдет замуж еще при жизни отца, мое опекунство ей будет ни к чему. А что мне делать с миловидной девицей в качестве подопечной? Мать, конечно, взяла бы ее в свои руки, и заботилась о ней, и наставляла ее, – но ответственность за ее судьбу легла бы на меня. И если бы тогда она вздумала выйти замуж за негодяя, это было бы куда хуже, чем если она выйдет за негодяя сейчас».

Такой трезвый взгляд на дело, наверное, должен был смягчить доктора Олливанта, и он мог бы быть благосклонен к мистеру Лейберну, но, когда он шагал от Уимпол-стрит к Фицрой-сквер, он не испытывал к этому человеку ни капли дружелюбия. Вечер выдался тихий, ясный, и даже лондонский ноябрь в такое время не казался безнадежно мрачным.

Он нашел предмет своих размышлений стоящим у камина гостиной, разговаривающим с Флорой – так, словно они были кузенами, связанными узами общих воспоминаний всей жизни. Свет лампы падал на открытое, приветливое лицо Уолтера Лейберна, когда мистер Чемни знакомил их, и в душе доктор был вынужден признать, что лицо это приятно и даже красиво. Но сколько бывает на свете мошенников с приятными и красивыми лицами! Это чуть ли не обязательное свойство плутовства. Гораздо удивительнее встретить мошенника с шестьюдесятью тысячами фунтов.

Быть может, нечто в свободной, дружеской манере молодого человека по его воле или против нее понравилось доктору Олливанту. Быть может, он заранее взял себя в руки и решил казаться приветливым. Как бы то ни было, он сумел расположить к себе мистера Лейберна и заслужил возвращение Флориной благосклонности. Он заметил в ней перемену и понял ее смысл.

«Чтобы завоевать ее расположение, мне нужно всего лишь быть любезным с этим молодчиком, – подумал он. – Невелико же утешение для меня как для личности».

Обед был самым оживленным из всех, что устраивали в доме на Фицрой-сквер. Доктор Олливант не позволил мистеру Лейберну самому болтать без умолку. Он высказывался на всякую затронутую тему, и высказывался прекрасно, с тем спокойным оттенком превосходства,

который придают человеку возраст и хорошее образование. Он говорил даже об искусстве, обнаруживая полное владение важной терминологией.

– Я не знала, что вы интересуетесь живописью, – сказала Флора, глядя на него так, словно впервые увидела в нем нечто новое – с оттенком изумления, будто он не был тем человеком, которого можно заподозрить в склонности к живописи, музыке, цветам или другим тонким радостям жизни.

– Да, я люблю хорошие картины. На каждой ежегодной выставке бывает хоть одна, которую я охотно повесил бы у себя дома.

– Жаль всех остальных художников, – сказал Уолтер, задетый невольной уверенностью, что доктору его собственные работы не придутся по вкусу.

– Я не видел картин у вас на Уимпол-стрит, – заметил мистер Чемни.

– Да, их там нет. Вся мебель на Уимпол-стрит принадлежит моей матери, и она стоит там в точности так, как она стояла в Лонг-Саттоне, – эта мебель уродлива, но привычна для нее. Мне и так едва удалось вырвать ее из девонширской земли, словно пришлось увезти немного почвы на корнях. В общем, старые стулья и столы меня вполне устраивают. Мне не нужны никакие утонченные удобства.

– То есть ты окончательно закоренелый холостяк, я правильно понял? – Чемни добродушно рассмеялся.

– Можно и так сказать. Считается, будто мужчина, не женившийся до тридцати, обречен на холостую жизнь. И все же страсть может прийти и после этого возраста. А может, история просто удивительным образом лжет нам.

– Например, Марк Антоний, – воскликнул Уолтер, – и его весьма полезная для искусства спутница, Клеопатра.

Обед удался на славу. Доктор Олливант предстал в неожиданном облике – не как степенный, молчаливый врач с черными задумчивыми глазами, но как приятный собеседник – его слова сверкали гранями, подобно тонко ограненным самоцветам. И что важнее всего – он был учтив с Уолтером Лейберном. Флора была совершенно покорена им, она поражалась, что может существовать такой умный человек, словно бы неизвестный и непризнанный, ведь сама она не придавала особого значения тому, что мужчина сумел получить такую обширную практику и хорошую репутацию среди коллег всего в тридцать шесть лет.

В его самых блестящих репликах звучала скрытая горечь, тихий минорный оттенок, едва уловимая печаль, и это тронуло ее нежную девичью душу. Ей стало жаль его – человека, который, казалось, состарился в мрачной повинности ученой профессии и прожил одинокую, лишенную радости жизнь в доме, где, несмотря на образцовую ухоженность, все дышало унынием.

Она перевела взгляд с доктора на Юность и Надежду, воплощенные в облике Уолтера Лейберна – существа, полного света и улыбок, чья натура, казалось, переливалась радостью, будто бокал игристого вина, в котором тысячи пузырьков стремятся всплыть к поверхности, шепча: «Мы – символы всех земных утех, смотри, как быстро мы исчезаем!»

Да, этот контраст между рабом науки и учеником искусства затронул ее, и она обратилась к доктору с самыми теплыми словами – из чистого сострадания.

Сразу после обеда трое джентльменов поднялись в гостиную вслед за Флорой, и, пока она разливала чай, ей достался на попечение доктор Олливант. Мистер Чемни с художником тем временем устроились у камина, чтобы довести до конца политический спор. Мистер Лейберн был радикалом, сформировавшим свои убеждения из сочинений Шелли[10] и Ли Ханта[11], и

[10] Перси Биши Шелли (1792–1822) – английский писатель, поэт и эссеист. Один из классиков британского романтизма.

[11] Джеймс Генри Ли Хант (1784–1859) – английский эссеист, журналист, поэт, драматург и литературный критик. Близкий друг и издатель поэзии Шелли и Китса.

несколько удивлялся, обнаружив, что его любимые теории на деле приносят не больше пользы, чем сломанные парковые решетки и профсоюзы. Мистер Чемни же был консерватором – хотя бы на том основании, что имел вклады в государственных фондах.

– Человек, чьи капиталы связаны с государственными ценными бумагами, не имеет права быть радикалом, – говорил он. – Тот, кому есть что терять, обязан быть консерватором. Я тоже был бунтарем в те годы, когда пробивал себе дорогу до Мельбурна, но в тот день, когда я начал откладывать первые деньги, я перешел в лагерь оппозиции. Не говорите мне о «Возмущении Ислама»[12]. То, что я вижу вокруг, – возмущение портных, жестянщиков, пекарей и других мастеровых – все это приведет нас к разорению состоятельного класса.

Пока они препирались, доктор Олливант был занят тем, что пытался загладить свою вину перед Флорой. Дело это казалось ему весьма приятным и совершенно необычным. Сидеть у стола при свете лампы и наблюдать, как тихо движутся между чашками ее белые руки, видеть ее склоненное нежное лицо, мягкий взгляд, который время от времени поднимается на него – робкий, доверчивый, внимательный к каждому его слову. Все это было для него таким же неожиданным даром жизни, как если бы он вдруг оказался властителем половины мира.

– Кажется, вы вчера очень на меня рассердились? – сказал он с улыбкой, показавшейся Флоре несколько обидной, как будто он вспоминал ее негодование с легкой насмешкой, словно речь шла о капризе избалованного ребенка.

[12] «Возмущение Ислама» (1817) – поэма Перси Шелли.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.